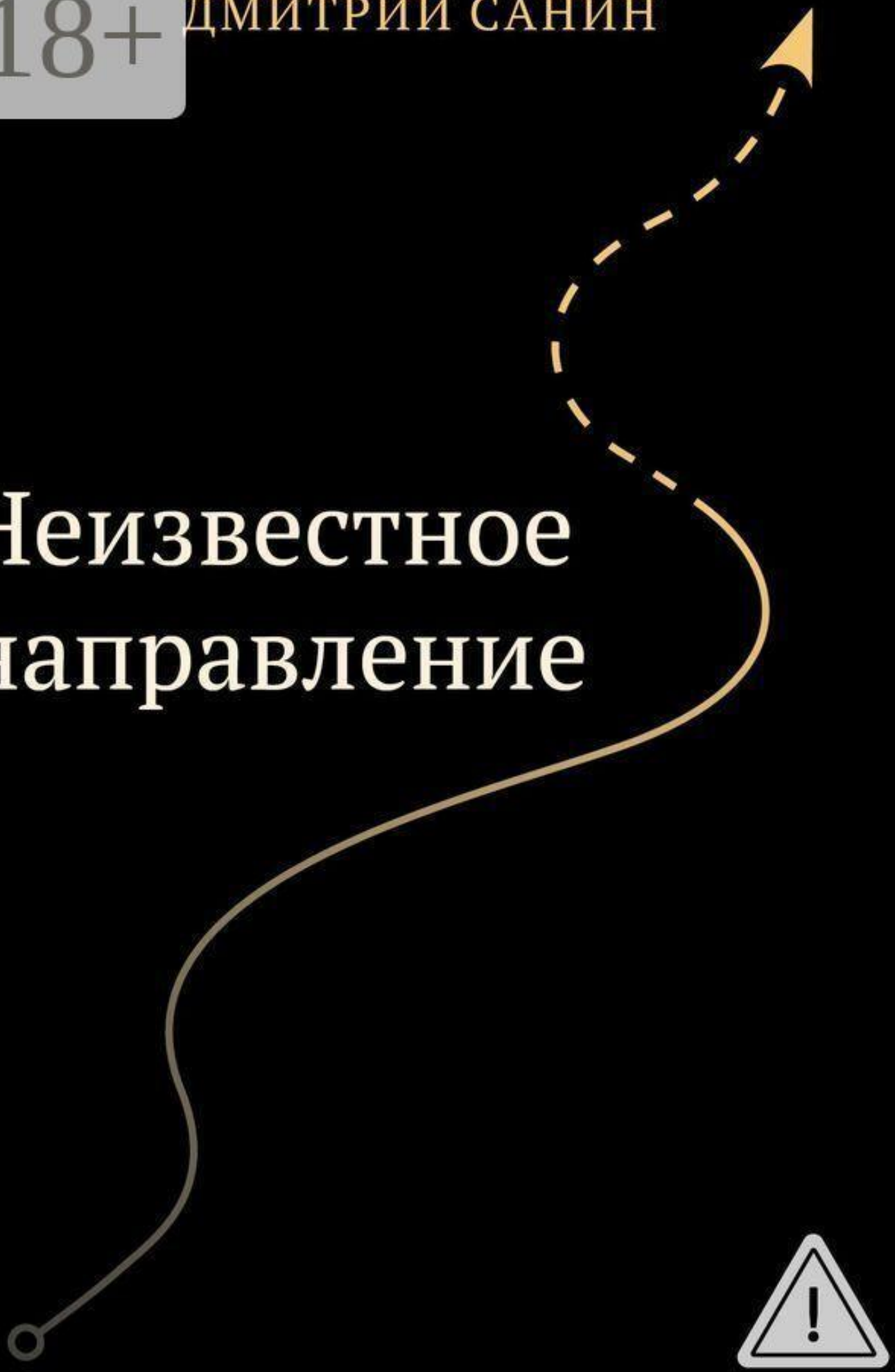
18+

ДМИТРИЙ САНИН

Неизвестное направление



Дмитрий Санин

Неизвестное направление. Роман

«Издательские решения»

Санин Д. А.

Неизвестное направление. Роман / Д. А. Санин — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.В этой истории у сновидений обнаруживаются точные адреса, у вымысла — свидетели, а у воспоминаний — подробности событий, которых, возможно, никогда не было.Всё изложено с обстоятельностью, достойной доверия. Тем любопытнее, что доверять здесь, в сущности, некому.Книга содержит нецензурную брань.

© Санин Д. А.
© Издательские решения

Содержание

Часть I 6
1. Найденная кассета 6
2. Нормальные показатели 9
3. Переезды 12
4. Ботаника 15
5. За водой 19
6. Один из нас 21
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Неизвестное направление
Роман

Дмитрий Александрович Санин

Из того, что рассказ допускает несколько прочтений, не следует, что он выдерживает несколько проверок. Автор, по-моему, склонен смешивать эти преимущества.
Марк Северин, философ

Я готов простить этой книге многословие и почти готов простить её самодовольство; гораздо труднее переношу те редкие минуты, когда она сама решает, что я должен почувствовать.
Элиас Верт, литературный критик

Ссылку на участие языковой модели я бы не принимал за достаточное объяснение особенностей этого текста. Возможно и обратное: машина предоставляет удобное алиби уже существующей склонности автора к обстоятельности, приданию повышенной значимости частностям и установлению связей там, где они остаются спорными. Это замечание о предъявленном способе рассуждать. Клинических выводов из рукописи сделать нельзя.
Леонид Розен, врач-психиатр

© Дмитрий Александрович Санин, 2026

ISBN 978-5-0071-7182-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I

1. Найденная кассета

В городе Петушки, в нашем дворе, мы с Инеем нашли на обочине дороги кассету — дело было в обычный летний день. Нам было лет по десять, родители работали, и двор принадлежал нам до вечера. Жил я тогда в пятиэтажке из серого силикатного кирпича — под ярким летним солнцем она казалась белой; через высокую траву к ней вели узкие тропинки. Что на кассете записано, мы не знали; отнесли её ко мне.

Ключи от квартиры у меня были. Дома стоял двухкассетник — серьёзная по нашим меркам техника, — и обращаться с ним мы умели: поставить музыку, перемотать, переписать с одной кассеты на другую. Последнее умение открывало большие возможности, поскольку хороших кассет было гораздо меньше, чем желающих их слушать. Одна и та же запись обходила половину знакомых и до очередного владельца добиралась с шипением и потерями, на которые мы почти не обращали внимания.

Мы поставили найденную кассету. Там тоже шипело, а затем какие-то мальчишки принялись изображать «Металлику». Электрогитару им заменяло «джинь-джинь», которое они выводили голосами, отстукивая такт. Слышно было, что это такие же пацаны, как мы: надрываются в микрофон кто во что горазд, — и всё это крутится на кассете, как купленная запись. Это нас и поразило. Я слушал и понимал, что мы могли бы делать то же самое. Кричать и бренчать на воображаемой гитаре мы умели и до того, но, чтобы показать кому-нибудь, как было круто, приходилось начинать представление заново, а здесь достаточно было перемотать. Сколько там было записано и дослушали ли мы до конца, я уже не скажу. Всё слилось в сплошной шум с детскими выкриками и этим псевдогитарным «джинь-джинь»; отдельного исполнителя я теперь не различаю.

Иней сказал, что в магнитофоне есть микрофон и мы тоже можем так записаться. К его сообщениям я относился с интересом, но не всегда с доверием. Дружили мы с четырёх лет, и за это время он успел рассказать мне столько удивительного, что я научился кое-что оставлять под вопросом. Он был тихий, чуть старше меня; я же вечно шумел и всюду лез, так что окружающим со мной приходилось несладко. Фантазёром считался я, хотя Иней выдумывал не меньше. Мои затеи он подхватывал и тут же достраивал, и потом уже было не разобрать, чья это была фантазия изначально.

Насчёт микрофона я сомневался. Красную кнопку мы давно знали — её нажимали, когда переписывали музыку с другой деки. Теперь же Иней собирался обойтись без второй кассеты: магнитофон запишет нас самих. По-моему, он опять несколько увлёкся. На корпусе нашлась маленькая прорезь, которой прежде мы не пользовались. Мы нажали кнопку, что-то наговорили, остановили, перемотали и включили воспроизведение — и сразу запрыгали по зелёному ковру, беснуясь от восторга. Что именно мы записали в самый первый раз, я забыл, зато состояние помню прекрасно: получилось, получилось же, он не выдумал, мы можем записывать себя на кассету! Тут же появилась масса идей.

Сначала записывали всё подряд: кричали из коридора, закрывали прорезь ладонью. Если поднести рот совсем близко, голос становится огромным и каким-то мокрым, с неприятным ударом на согласных, — во время записи этого не слышно. Говоришь самым обыкновенным образом, а на плёнке сидит здоровенный человек и плюётся в динамик. Отойдёшь подальше — слышна уже и комната. Мы переслушивали и гадали, кто где стоял.

У Инея хватало терпения дождаться нужного места на ленте. Я хотел начинать немедленно и вносил предложения как раз тогда, когда он нажимал кнопку. Предложения тоже

записывались. Так у песни появлялось вступление, в котором я объяснял, как она должна начинаться, а Иней возражал, что это мы уже обсуждали. Стереть одно возражение, сохранив остальное, мы не умели; перезаписать заново мешала следующая идея, так что возражение оставалось в альбоме.

Со словом «альбом» всё звучало гораздо серьёзнее. Наговорить что-нибудь на кассету мог, как выяснилось, всякий владелец такого магнитофона; у нас же складывалась целая программа: какая песня будет первой, какая уйдёт на другую сторону, сколько оставить места. Места на плёнке казалось много, пока мы не начинали писать. Длинное вступление, которое жалко обрезать, съедало заметную часть стороны, и последние слова мы проговаривали скороговоркой, поглядывая на вращающееся колёсико. Остаток можно было угадать только по толщине рулончика, и мы торопились, глотая слова: вот сейчас, подожди, тут ещё самое интересное.

В комнате становилось жарко. Из коридора никто не спрашивал, долго ли мы ещё будем этим заниматься, — записывались мы только тогда, когда родителей не было дома. Зато на плёнке вместе с песней оставалось всё, что доносилось с улицы. Магнитофону было всё равно, как называется альбом и что сейчас идёт важный кусок: писалось всё подряд, вместе со щелчком соседней деки, который мы хотели скрыть. После нескольких прослушиваний иные шумы начинали даже нравиться. Мы ждали щелчка или короткого провала голоса и по ним узнавали, какая копия играет.

Журнал, кажется, появился раньше кассет. Так или иначе, клуб «Молния» вырос вокруг самодельного журнала, который мы делали с Инеем; и название, и саму затею придумал он. Мы сочиняли, рисовали, собирали выпуск и давали читать дворовым пацанам, в основном ровесникам. А когда появились свои записи, журнал стал писать и о них.

Сочиняли вдвоём, репертуар был по преимуществу матерный, запрещённый. При записи один стоял у микрофона, другой включал музыку и нажимал кнопки. Для минусовок годились инструментальные вступления и куски чужих песен, где ещё не начали петь: их требовалось вовремя включить, а на другом аппарате вовремя нажать запись. Технической стороной занимался Иней, пока пел я; потом менялись. Приятнее всего было стоять перед микрофоном, когда всё приготовлено и сейчас начнётся музыка: комната та же, магнитофон тот же, а ты уже ждёшь своего вступления, как будто в студии. У кнопок возни было не меньше — от того, как их нажмёшь, зависело, что попадёт на плёнку. Место для наших голосов я выискивал на знакомых кассетах. Ценнее всего были длинные вступления, где чужой вокалист ещё молчит.

Писали мы на ту самую найденную кассету. Прежнюю запись стёрли в день находки, и первых исполнителей я больше никогда не услышал. Тогда об этом никто не думал: нам нужна была плёнка, чтобы записываться самим.

Записи нам нравились, и мы решили делать копии. Я рисовал чёрно-белую обложку, мама снимала ксерокопии у себя на работе, я разрезал листы и раскрашивал фломастерами. Обложки вставлялись в обычные кассетные коробки. Я вычерчивал прямоугольники и прикидывал, как согнуть бумагу, чтобы название легло на узкую боковую полосу. После сгиба часть буквы уезжала под пластмассу; я расправлял лист, сдвигал и сгибал заново. В коробке бумажка немного топорщилась. На ксерокопии пропадали мелкие штрихи и детали, зато карандашная грязь, которую я и не считал частью рисунка, выходила на удивление чётко. Потом брал фломастер для названия. Цвет, ясное дело, один на весь тираж, но где-то на третьей кассете уже сидел и думал: а может, всё-таки красным? Одна обложка была раскрашена, другая лежала чёрно-белой, третью я испортил и раздумывал, можно ли её всё же кому-нибудь отдать.

Копии записей тоже различались — где громче, где тише, — а иногда после нашей песни начиналось то, что было на плёнке раньше. Стирать остаток было жалко, и кому-нибудь во дворе доставался альбом в расширенном издании.

Больше всего я любил делать обложки. Кто что спел, давно стёрлось, а согнутая бумага, тугой футляр, краска на пальцах помнятся. Я представлял, как кассету возьмёт кто-нибудь из дворовых пацанов, откроет коробку, развернёт вкладыш, поставит слушать, а при встрече расскажет, что у нас получилось.

Кроме самопальных альбомов, я записывал и сборники: песни для них искал на разных кассетах и ловил по радио. Сидел у магнитофона, караулил начало и в награду получал собственную подборку в том порядке, который выбрал сам, — порядок этот я считал единственно правильным.

Наши занятия произвели впечатление: вскоре обнаружилась конкурирующая организация того же профиля — клуб «Дракон». Относился я к нему весьма враждебно. Мы с Инеем нашли кассету, открыли возможность записывать, придумали всё предприятие, а эти просто взяли готовую идею и начали делать своё. Я был уверен, что справедливость на нашей стороне и обсуждать тут нечего. Кассету нашли мы. До нас никто во дворе подобных записей не выпускал. Следовательно, прежде чем записывать своё, им полагалось спросить у нас разрешения. Объясни нам кто-нибудь из взрослых, что наговаривать на плёнку может кто угодно, мы бы не поняли, о чём речь. Кнопку нажать умел каждый. Спорили мы о другом: чьё это всё.

Их кассету, однако, хотелось послушать немедленно. Я мог заранее объявить всё это ерундой, а потом сидеть у магнитофона и сердиться, если кто-нибудь разговаривал поверх записи: надо же понять, что они там натворили. Хуже всего было услышать что-нибудь удачное. Ну да, придумали. А на каком основании? На основании нашей идеи.

Позже ко мне попала одна из их кассет. Из всего этого хозяйства у меня сохранились бумажные обложки, в том числе и драконовская. Смотришь на неё и вспоминаешь, как всерьёз я верил, что выпускать альбомы во дворе можем только мы. Во всяком случае, эту часть истории я по сей день рассказываю именно так. Есть у меня и подозрение, что техническую помощь конкурентам оказывал Иней. Как им всё наладить, он знать мог: у нас-то он прекрасно разбирался, как это устроено. Доказательств не предъявлю, но и от подозрения отказываться не собираюсь. Уж очень быстро у «Дракона» всё вышло.

Сохранись те альбомы, я бы с удовольствием послушал наши детские голоса — о чём мы кричали и как попадали или не попадали в музыку. Особенно любопытно было бы разобрать разговоры между песнями.

Иней и теперь мой друг. Мы оба живём в Королёве, у него три дочери. А ещё я помню комнату, перегороженную шкафом, и занавеску, за которую однажды заглянул.

2. Нормальные показатели

Мужчина сел напротив и положил телефон на стол. Лет тридцати пяти, загорелый, подтянутый, с ровной, будто по линейке подстриженной бородой. Белые кроссовки были такими чистыми, словно от дома до кабинета он не сделал по улице ни шагу. Пока я открывал запись, он успел проверить что-то на часах, снял их и положил рядом с телефоном. На запястье осталась светлая полоса от ремешка.

— Всё подгрузилось, — сказал он, придвигая телефон ближе ко мне. — Тут и сон, и пульс. Разбирайтесь, что вам нужно.

Он пролистал несколько ночей и вернулся к одной, раздвигая пальцами цветные полосы.

— Не восстанавливаюсь вообще.

— А вы сами по утрам чувствуете, что сон не приносит отдыха, или сначала в график смотрите?

— Да я сперва туда и лезу.

Приложение было сделано со вкусом. Фазы сна шли полосами песочного, серо-голубого и тёмно-синего, без единого резкого цвета; сверху стояло крупное число, под ним мелким шрифтом: «Сегодня телу нужно мягкое начало». Такое соседство цифры и заботливой фразы мне уже встречалось: в рекламе умных колец, в утренних роликах, где человек встаёт затемно, пьёт тёплую воду с лимоном, садится у окна с блокнотом и под тихую музыку записывает три намерения на день. Ролики эти всегда снимают сбоку, против окна, чтобы пар над чашкой был виден предельно чётко.

Телефон ночевал на зарядке у кровати, и утро начиналось с графика сна. В тот день приложение посоветовало «мягкое начало», хотя проснулся пациент легко. Но мягкого начала не вышло: всё утро он прислушивался к себе и перед выходом чуть не отменил приём. Бывало и наоборот: цифры идеальные, а работать невозможно.

— Тогда придётся искать причину, — сказал я. — Вы потому всё это и принесли?

— Да, я поэтому и собрал.

Искать её, конечно, придётся, но сначала я хотел выслушать его самого. Говорил он обстоятельно, иногда возвращался к уже сказанному, чтобы поправиться или уточнить, что так было всего один раз. Живёт в области, работает в Москве, как пояснил сам пациент, «с людьми», целыми днями за компьютером, тренируется. Ест в основном готовое из «ВкусВилла» — и тут же осёкся: не слишком ли подробно? Я попросил рассказать, как устроен его обычный день. Подъём в шесть, кофе и короткие ролики за кухонным столом, потом электричка и метро — опять ролики всю дорогу, — к девяти на работе, обратно к восьми.

Смотрел он их в основном в тамбуре: к его станции сидячих мест уже не оставалось. Эти тамбуры я знаю по Королёву и по тем годам, когда ездил на электричке в диспансер: стены, закрашенные серым поверх прежнего серого, процарапанные по стеклу буквы, иней на двери изнутри. Зимой там стоят вплотную, и телефон держат у подбородка, потому что руку опустить уже некуда. На экране в это время кто-то в светлой кухне пил у окна тёплую воду с лимоном, а за окном был сад. Часы в такие утра советовали телу мягкое начало.

— Люди же как-то всё успевают, — сказал он. — И спорт, и почитать, и вечером ещё куда-то. Я же смотрю, у них получается. Значит, со мной что-то не так.

Читать он тоже пробовал — возит с собой книгу, но дальше нескольких страниц дело не идёт. Какую именно, я спрашивать не стал. Мало ли.

На работе крупных сбоев пока не было, так что с обращением к врачу он тянул: раз справляется — значит, ничего критичного. Дома же ему хотелось лишь одного — чтобы его некоторое время никто не трогал. Наступал долгожданный свободный вечер, ради которого он жил весь день, и тут выяснялось, что занять его нечем. Он мог часами перебирать фильмы,

вчитываться в аннотации сериалов, а в итоге выключать экран, потому что наступало время спать.

— Раньше приходил с работы и сразу падал, — сказал он. — А теперь я специально всё подстроил, чтобы оставались силы. И толку?

Я расспрашивал его о сне, настроении и работоспособности, уточнял, как давно это продолжается, кое-что переспрашивал. Порой он интересовался, зачем мне это, и я объяснял.

В середине разговора мужчина предложил переслать мне описание своего состояния. С нейросетью он последнее время обсуждал его почти каждый вечер, а накануне попросил сократить всё для врача, чтобы на приёме ничего не забыть. Очень, кстати, полезная возможность, особенно если человек волнуется и боится упустить половину. Я прочёл с его телефона. В конце стояло: «Запрос — восстановление контакта с собственными потребностями».

— А вы именно так говорили?

— Это она так написала, а я согласился. Сейчас найду, там сначала было длинно.

Он стал листать переписку. Я предложил пока рассказать самому, но он уже нашёл сообщение и повернул экран ко мне. «У меня всё нормально, но я не могу дождаться, когда все от меня отъебутся». Ниже шло ещё несколько абзацев; он держал телефон у себя и сам прокручивал переписку, пока я читал.

— Все — это кто?

— Да никто особенно не трогает. Я сам понимаю, что получается глупо.

В разговоре появились обстоятельства, которых в сокращённом нейронкой тексте не осталось. Он не мог уменьшить объём работы так, как ему советовали соцсети: за квартиру надо было платить, заработок складывался не только из твёрдой части оклада, а людям, с которыми он работал, было глубоко безразлично, в контакте ли он сегодня со своими потребностями. Бросать работу он тоже не хотел: многое в ней ему нравилось. Когда ему в очередной раз предлагали наконец выбрать себя, он раздражался: кого же он всё это время, блядь, выбирал? Сказал, посмотрел на меня и добавил, что это не ко мне относится.

Прежде чем говорить о лечении, я пересказал, как понял его состояние, примерно теми словами, какими собирался потом записать в карту: сон не приносит отдыха, к вечеру силы кончаются, постоянная утрата интереса к деятельности. Тут он меня остановил.

— Подождите. Почему постоянная? Это по-разному. Я же на работе могу увлечься и вообще забыть про время. Я вечером не знаю, что делать.

Разница была существенная, и не только для него. Я сказал иначе: интерес есть, а пропадает к вечеру, когда заканчивается работа. Ещё к одному слову он придрался, подумал и с остальным согласился.

Дальше пошли конкретные назначения. Сначала базовые анализы: показатели функции щитовидной железы, гемоглобин, ферритин — при такой усталости их проверяют в первую очередь. Затем я объяснил план лечения: чего ждать в первые недели и когда можно будет оценивать результат. Он аккуратно записывал в телефон, закрыв наконец свои графики сна. Дважды переспросил про тренировки и про приложение. Я посоветовал и там и там ориентироваться на собственное самочувствие, а не на цифры с экрана. Встречу назначили через две недели.

Мужчина открыл в телефоне календарь, потом банковское приложение, что-то прикинул и выбрал дату на неделю позже, чем я предлагал. Она тоже подходила. Мы договорились, в каких случаях он свяжется со мной раньше. Потом он достал из-под стула пакет, вынул ботинки в засохшей грязи по ранту и переобулся, а кроссовки сложил в пакет подошвами друг к другу, как в школе складывали сменку. Уже от двери он вернулся за часами, которые оставил на столе, и, застёгивая ремешок, сказал, что ту ночь, которую показывал, наверное, можно не считать.

Накануне электричка встала между станциями: впереди кого-то сбило поездом. Почти два часа они простояли напротив гаражей и бетонного забора какой-то промзоны; свет в вагоне

гас и загорался снова, отопление выключили, по громкой связи один раз сказали про «технические причины». Потом состав медленно прополз мимо того места, и из окошка тамбура было видно, что лежит у насыпи под брезентом. Ролик в телефоне всё это время шёл по кругу, он его не выключал. На работу он опоздал. Рассказал он это между делом, как поправку к данным: день нетипичный, ночь можно не учитывать. Этот график он при мне увеличивал дважды.

Вечером мне понадобилось коротко описать свою работу для блога. Такие тексты постоянно где-нибудь нужны: кто ты, чем занимаешься, почему стоит обратиться именно к тебе. Всё это я знал, но изложить в пяти строчках, без канцелярщины и самовосхваления, оказалось отдельной задачей. Я открыл чат-бот, с которым уже разговаривал о себе, и попросил помочь.

У нейросети получился замечательный коллега. Научный подход сочетался у него с глубоким пониманием человека, внимание к индивидуальности — с бережным отношением, и я бы с удовольствием сам к нему записался, если бы из текста удалось установить, кто это конкретно. Я попросил конкретнее. Нейросеть сообщила, что мой профессиональный путь позволил выработать собственный метод.

— Какой ещё метод? — спросил я вслух и тут же надиктовал вопрос. — Я врач-психиатр. У меня есть образование, практика. Не надо приписывать мне метод, которого я не изобретал.

В следующем варианте метод исчез, зато появилось понимание границ метода. Я вернулся к началу, удалил всё, что звучало как обещание, сократил рассказ о себе, оставил то, что можно проверить. И всё же добавил, что мне важно слышать человека за его жалобами. Формулировка вышла дурацкая, но мне хотелось объяснить, как я работаю, а других слов к тому времени не осталось.

ИИ предложил: «Помогает человеку услышать себя без навязанного извне объяснения». Я прочёл и не сразу удалил. Хорошо же вроде звучит: сдержанно, без золотых медалей и восторженных прилагательных. Я заменил «помогает» на «старается помочь», и текст стал ещё убедительнее: доктор явно понимает меру своих возможностей. В текстовом поле помещалось меньше знаков. Пришлось убрать «старается».

Я отправил описание, проверил контакты для связи и закрыл ноутбук. А через несколько дней меня неожиданно пригласили поговорить о том, как оставаться собой среди чужих ожиданий. Девушка из организаторов писала всё со строчных букв. Она объяснила, что прочла мою самопрезентацию в блоге и поняла: им нужен именно такой человек.

Я посмотрел их страницу: бежевые квадраты, сухие колоски в бутылке, чашка сверху, раскрытая книга; лиц почти не было, в кадр попадали руки. Руки держали чашку, листали книгу, лежали на льняной скатерти рядом с хлебом, который, судя по всему, здесь же и испекли. Свет на снимках был утренний, и на нескольких по столу шли полосы тени, как от жалюзи. Этот свет я узнал раньше, чем понял, откуда пришло воспоминание: так солнце падало на кухонный стол в одной кишинёвской квартире, где я когда-то жил, только жалюзи там были зелёные, а под полосами света лежали разрезанные помидоры и зелёный лук. Подписи начинались со строчной буквы и обходились без восклицательных знаков: «замедлиться», «вернуться к себе». Под одной кто-то спросил, сколько стоит участие; ответили, что напишут в личные сообщения. Тема была сформулирована так широко, что повернуть её можно было куда угодно. Я ответил, что в принципе готов, но хочу уточнить, чего они ждут от встречи.

Она прислала сердечко и попросила фотографию.

3. Переезды

Занавеска появилась уже после моего переезда в Королёв. Я приехал в Петушки к Инею, вошёл в квартиру и увидел, что комната перегорожена шкафом, а оставшаяся за ним часть отделена плотной тканью. Иней отодвинул её, пропуская меня; край тут же за что-то зацепился, и, пока он его отцеплял, я успел заглянуть внутрь.

Со всех сторон смотрели сатанинские рыла: белые лица, чёрные провалы вокруг глаз, длинные волосы, кожа, железо. Названия групп на плакатах переплелись буквами так, что разобрать их удавалось не сразу. Mayhem, Burzum и ещё множество всего — у Инея собралась огромная дискография металла. Здесь же стояла его кровать. Советская красная звезда для новогодней ёлки висела перевёрнутой: новогодняя звезда-пентаграмма. Переделывать её не пришлось — рядом с рожами на плакатах она смотрелась так, будто для того её и делали. Иней превратился в лютого металлиста. Есть фотографии, где он играет на электрогитаре в зимнем лесу, в соответствующем облачении, среди снега и голых деревьев.

Квартира была однокомнатная, и за шкафом с занавеской получилось его собственное пространство; по другую сторону оставалась обычная комната с вещами его матери, где к нашему шуму относились терпеливо. Мне не терпелось узнать, что он здесь слушает и где успел всё это раздобыть.

Мы перебирали записи. Иней знал, где что лежит, и безошибочно вытаскивал нужную кассету из нагромождения, в котором я ничего не мог найти. Названия групп он произносил обыкновенным голосом, без рычания, которое неслось из единственного динамика его магнитофона, — это было, пожалуй, забавнее всего. Он выходил из-за занавески на кухню и спрашивал о чём-нибудь совершенно домашнем. Когда он показывал мне снимки из леса, лицо на них было свирепое, как на плакатах, а сам он рядом улыбался.

Потом мы оба стали отцами, и я пробую представить за той занавеской всех нас сразу: его, себя, детей, наши нынешние разговоры. Но там и двоим было тесно. Пусть уж он останется там один, каким я увидел его в тот приезд, а я — у шкафа, наполовину протиснувшись.

Петушки — небольшой город, и многое в нём построено из серого силикатного кирпича с местного завода. Рядом с нашим районом идёт Горьковское шоссе. Если пойти дальше, к нашей школе, упрёшься в железную дорогу, а за ней, уже за городом, течёт Клязьма.

Панельных домов в городе было немного, и несколько из них, на Московской улице, назывались военными: светлые, с квадратной плиточной облицовкой, открытыми балконами и деревянными оконными рамами; в подъездах тогда тоже стояли обычные деревянные двери, домофонов и железных дверей ещё не было. Ни серий этих домов, ни имён руководителей страны, по которым потом оказалось принято называть разные виды жилья, я в детстве не знал. Я знал, где живу я, где Иней, какие подъезды лучше обходить стороной, где горит вечерний свет и сколько осталось до порога квартиры.

У стены военного дома облицовку можно было рассмотреть вблизи: мелкие голубоватые квадратики и швы между ними; цоколь внизу отделали такой же плиткой, только фиолетовой. В подъезде свет шёл от окна на лестнице; на зелёной краске внизу стен проступала мелкая шагрень. Перила тянулись вдоль марша, поворачивали на площадке и уходили выше, к чужим квартирам. Мы жили в доме двадцать один, на первом этаже, в правой квартире возле лестницы. Дверь была деревянная, с рисунком ключа, напоминавшего мне золотой ключик Буратино.

Из кухонного окна виден был закат и далеко, почти у горизонта, церковь. Вечером её крест сиял в заходящем солнце. Мне казалось, что церковь для того и поставили: чтобы солнце садилось именно туда, крест загорался, а из нашей кухни всё было видно. В той же стороне,

на западе, за горизонтом, находилась Москва. Об огромном городе я знал немногое: что он настоящий и что меня туда непременно когда-нибудь отвезут, — тогда и посмотрю сам.

Меня и в самом деле стали возить, и я уже успел несколько раз побывать в Москве, когда наткнулся в Петушках на настоящий вагон метро. Он стоял среди гаражей у военных домов. Я точно знал, где таким вагонам место — под землёй, в тоннелях, — поэтому его появление здесь, посреди дворов, казалось мне необъяснимым. Зачем его сюда притащили и как он вообще здесь оказался, я не понимал; внутрь я так ни разу и не попал.

Позже моя семья переехала через несколько дворов — в ту самую силикатную пятиэтажку, куда мы с Инеем принесли найденную кассету. Совсем недалеко, однако в памяти это разные части детства: другой вид из окна, другая дорога из дома, пусть даже к тем же знакомым адресам. Город я и теперь вспоминаю то из одной квартиры, то из другой, смотря о чём зашла речь.

В квартире бабушки по отцу не действовали правила, заведённые в обеих наших. Здесь разрешалось многое из того, что дома было под запретом, и лучше всего это удавалось вдвоём с двоюродным братом Ветром. В прошлом она работала учительницей и, видимо, поэтому на наши выходки реагировала спокойно. Мы хулиганили как хотели: смотрели всякую ерунду и рубились в приставки Ветра, развалившись прямо перед телевизором. Одну сторону комнаты целиком закрывала полированная советская стенка, за стеклом стояли книги и посуда.

Зимой я ходил на карате. Иногда тренер развозил нас на машине, иногда я возвращался сам: снег, редкие фонари, сумочка со спортивными вещами, белизна по обе стороны дороги. Даже там, где света почти не было, я видел, куда идти. Чтобы попасть из одной части города в другую, нужно было перейти железнодорожный мост. Рельсы под ним убегали прямо на Москву и на Владимир, и, бывало, пока я шёл по мосту, внизу проходил товарный или электричка. Теперь я представляю, кто мог бы встретиться там ребёнку вечером, и думаю, что тренер, развозя нас по домам, представлял это тоже. Тогда же я шёл совершенно спокойно.

В Королёве я попал в класс, где пацаны были заметно крупнее меня. В прежней школе я привык чудить сколько влезет и решать всё кулаками; здесь же меня в два счёта поставили на место — пришлось искать другой подход. Шутить я любил и раньше — обычно просто для собственного удовольствия, особенно когда кто-то подхватывал. У этой роли, как выяснилось, даже есть название — «клоун класса», только узнал я его много лет спустя.

Постепенно нашлись свои друзья, разделявшие мои увлечения. У меня появился пирсинг в брови — приобретение для школьника существенное, — и родители, к моему удовольствию, его разрешили. В девяностые в школу ходили кто в чём хотел, а примерно с девятого класса — уже в начале двухтысячных — нас стали заставлять одеваться по-деловому, в пиджаки и рубашки. Как раз тогда я пирсинг и сделал, и даже школьные хулиганы, как мне показалось, посмотрели на меня с уважением. Продолжалось это, покуда директор этот пирсинг собственноручно не выкрутила. Канал успел зарасти; след виден до сих пор.

Мы с ребятами переделывали акустические гитары в электрические — ставили звукосниматели, чтобы добиться перегруза. Мне нравилось носить инструмент в чехле, прикидывая, как я выгляжу со стороны. Играть на нём оказалось сложнее, чем просто таскать с собой. Учились мы по тетрадкам, куда переписывали песни: слова столбиком, над ними буквы аккордов. Половина дворовых песен держалась на четырёх — Am, F, C и E. Струны на советской акустике стояли высоко над грифом, резали подушечки пальцев до вмятин, а мозоли мы показывали друг другу с гордостью. Барре не давалось: указательный палец не прижимал все шесть струн разом, одна обязательно глохла или дребезжала, и песни с этим злосчастным фа мажором мы играли как-нибудь в обход.

Исполняли то, что тогда пели все, у кого была гитара: песни про смерть, войну, всякую чертовщину, мрачные или похабные, а иногда то и другое сразу, под три аккорда и быстрый бой. Перегруз, которого мы так добивались, многое прощал: за ним было не разобрать, где

промах, а где так и задумано. Сыграл, замер, глянул на приятеля: узнал — значит, вышло. Годы спустя, слушая эту запись, я только злился на своё исполнение, но тогда любое угаданное созвучие было чистой удачей.

Из телевизора смотрела другая жизнь — казалось, она целиком состояла из того, что нам удавалось выкроить по вечерам, на пару часов после школы. Люди на экране выступали, гастролировали, и даже их отдых выглядел как манифест. Мне хотелось жить так же: целиком и разом — перенять их одежду, длину волос и походку, но главное — этот воздух вокруг и право никогда ни у кого не спрашивать разрешения.

Позже я играл на басу в нашей королёвской группе. Мы исполняли предельно тяжёлую музыку, и моя партия во многом состояла из нулей, честно извлекаемых из открытой четвёртой струны. Слышно ли меня за общим звуковым хаосом — большой вопрос. Зато ребята на точке сразу приняли меня своим. Зависать на репетициях и часами говорить о музыке мне нравилось задолго до того, как у нас стало что-то получаться.

После школы я поступил в медицинский в Москве. Потом надоело всё — и учёба, и привычный круг, — поэтому я решил взять академ и уйти в армию. В армию не взяли, восстановиться на факультет не получилось, а тут как раз выяснилось, что доучиться можно в Молдавии. На бумаге для отдела кадров всё выглядит именно так, и каждое слово чистая правда. Почему я не остался в России, из анкеты понятно, а вот почему уехал именно туда — ничуть.

Солнце, которое я в детстве провожал из нашей кухни в Петушках, садилось вовсе не в Москву — оно уходило дальше. Позже, когда с учёбой всё пошло наперекосяк, я сам поехал тем же маршрутом. Один известный путешественник всю жизнь ехал из Москвы в Петушки и так туда и не попал. Я же до Москвы доехал и не остановился — улетел дальше, на тысячу с лишним километров к юго-западу, туда, где в сентябре ещё лето. Направление этого полёта было мне неведомо, хотя в билете всё значилось. Так я оказался в Кишинёве. Учёбу я собирался продолжать, но больше, кажется, хотел просто уехать.

Настоящее расстояние я почувствовал гораздо позже и всего один раз — когда пришлось возвращаться домой поездом, который тогда ещё ходил через Украину. Я лежал на верхней полке плацкарта, слушал радио в наушниках на кнопочном телефоне, пока молдавские станции не сменились украинскими, а украинские — русскими, и подкреплялся горячей водой из титана. Вечером солнце село у меня за спиной, там, откуда я ехал.

4. Ботаника

Из аэропорта в Кишинёв въезжают через Ботанику — между двумя высотками в двадцать с лишним этажей, которые местные называют Воротами города. Дальше тянется бульвар — советские многоэтажки по обе стороны за старыми деревьями, рекламные щиты на столбах и троллейбусные провода над головой. На крышах некоторых домов стоят вывески, видные издалека, а внизу, на первых этажах, кто-то прорубил отдельный вход и разбил палисадник с крашеной скамейкой и розами за оградкой. Первое время мне казалось, что город и состоит из таких районов; старый центр нашёлся позже, за виадуком.

Бас-гитару я привёз с собой в Кишинёв. Знакомясь с новыми людьми, я первым делом спрашивал, что они слушают, — так и находил, с кем играть.

С Футболистом, впрочем, всё началось с мяча. Он жил в высотке напротив — в той самой квартире на первом этаже, откуда отдельный вход выходил прямо в палисадник с крыльцом. Мы пинали мяч во дворе о стенку дома, разговорились и быстро поняли, как много у нас общего, начиная с музыки. Футбол он любил, а в компьютерные игры мог уходить с головой. Сочинял он тоже сам: у него хранился целый альбом, причём довольно прогрессивный, но не на кассетах или дисках, а в файлах Guitar Pro — со всеми партиями, которые озвучивал синтезатор программы. Иного звучания у этих песен тогда не было, хотя многое он пробовал играть сам — на той же советской акустике, где струны едва прижимались к ладам. С ним мы потом тоже много музицировали вдвоём, брали гитары и пели.

Футболист жил на Ботанике с детства и открыл мне этот район изнутри — так показывают только своё: где правильные дворы, как лучше пройти, куда имеет смысл заглянуть. Я мотался по городу, менял съёмные квартиры, и только его первый этаж оставался единственным постоянным адресом. Ботаника и по сей день мой самый любимый район в Кишинёве.

С Пассажиром я познакомился на каком-то анонимном форуме. Встретились на рок-концерте — моём первом в Кишинёве, — и с этого вечера он сделался моим проводником. Выяснилось, что с Футболистом они давние друзья. Музыкальные вкусы оказались лишь точкой старта: Пассажир открыл для меня город, а Ботанику и её закоулки они показывали мне уже вдвоём. У района имелся свой уклад — кто где появляется, куда отсюда можно дойти пешком, — и я постепенно в него вживался. Сам Пассажир когда-то тоже приехал в Кишинёв из провинциального городка на юге Молдавии. Судя по его рассказам, тот городок до боли напоминал Петушки. Наверное, поэтому с ним было так легко: он всё ещё помнил, каково это — смотреть на чужой город растерянными глазами новичка.

Он же втянул меня в гаражный рок — от The Stooges до Jay Reatard, который лучше всего передаёт дух того, что мы тогда играли. С Пассажиром мы общаемся по сей день, оба теперь живём в России.

С Маятником и Камертоном мы делили одну съёмную квартиру, и там же обитал Пассажир. Маятник играл на барабанах, Камертон отвечал за гитару и вокал, я — за бас. Коллектив собрался ещё до меня: я занял место прежнего басиста. Через квартиру непрерывным потоком шли приятели и знакомые знакомых, так что само слово «состав» быстро теряло всякий смысл. В обычной жизни Маятник был неприхотлив до крайности: где упасть поспать, что съесть, во что одеться — всё решалось на ходу, быт его не волновал вовсе. Зато в музыке он горел так, что этого заряда хватало на всех.

Песни сочинял Камертон, причём приносил их продуманными до мелочей — сразу с готовой подачей, манерой петь и держаться на сцене. Вдобавок он сам паял аппаратуру и собирал гитары. Рядом с ним я учился вписываться в плотную, уже выстроенную конструкцию и искать в ней то единственное пространство, где по-настоящему прозвучит бас. Партии мы разбирали дома. Кто-нибудь брал акустику, показывая, что имеет в виду, и я наконец расслышал

те места, которые в общем гуле тонули за барабанами, вокалом и моим собственным басом. Маятник и Камертон умели гораздо больше меня; учиться было у кого, и за это время я стал играть ощутимо лучше.

Репетиционная точка находилась рядом. Барабаны стояли на невысоком помосте, перед ним по полу змеились провода. Начиналось всё задолго до первой песни: скоммутировать аппаратуру, отыскать нужный шнур, понять, почему один инструмент звучит, а другой молчит, хотя вроде бы всё включено. Кто-то уже наигрывал риффы, пока остальные договаривали. Наконец всё заводилось, и мы принимались джемить в своё удовольствие. Как держаться и двигаться, каждый решал сам. Я особенно любил моменты, когда бас вдруг вставал точно на своё место. Сам по себе он даёт скромный, глухой низ — пусть у меня и была педаль перегруза, — но в связке с барабанами рождается грув, который начинаешь поддерживать всем телом: за каждой нотой уже не следишь, а заранее чувствуешь, куда она должна прийти. На этой же базе мы потом пили вино и жарили шашлыки.

На репточке бывало жарко, и я часто играл с голым торсом. Нравился я себе тогда куда больше, чем в школьные годы: загар от южного солнца, и ни следа подростковых проблем с кожей. Маятник сказал мне, что я подражаю Игги Попу. Песни его я знал, некоторые мы играли, но каков он на сцене, ещё не видел. После слов Маятника посмотрел и обнаружил сходство.

После репетиции в ушах стоял шум, уличные голоса доносились словно издалека. Бас в чехле оттягивал плечо и хлопал по спине. И зверски хотелось есть. До дома была одна остановка; шли пешком, усталые, и продолжали спорить о музыке, перекрикивая транспорт. Иногда нас обгонял последний троллейбус, полупустой, с наполовину погашенным светом, и в его тёмных стёклах мы на секунду шли ещё раз, отражённые, поверх ночной Ботаники.

Было у меня и собственное музыкальное предприятие — группа, которую я собрал в Кишинёве. Единственный концерт мы дали втроём, в одном из городских подвалов; на басу теперь играл Пассажир, на барабанах — опять же Маятник. Я стоял с гитарой у микрофона, и чувство было почти то же, что когда-то в Петушках у двухкассетника, когда всё уже готово и ты замер в ожидании своего вступления. Только теперь вместо прорези в магнитофоне передо мной была стойка и живая публика, а сделать предстояло именно то, что я столько лет представлял себе, глядя в телевизор.

Отрепетировали мы заранее, так что отыграли на удивление пристойно. На видеозаписи, которую сделала моя первая жена, я держусь свободно, пою, даже играю импровизированное соло и, что любопытно, нигде толком не съезжаю. Как будто мне на короткое время выдали дополнительные музыкальные знания, а потом забрали обратно. Людей было человек тридцать. Мы сыграли с десяток коротких песен и уложились минут в двадцать: пятнадцать минут славы, с небольшим запасом. На сцене мне было хорошо, и, пересматривая запись, я по-прежнему этим доволен.

В университете я учился в русской группе. Румынский был обязательным предметом, да и для жизни в Молдавии его требовалось знать. У местного русского языка, впрочем, тоже имелись свой словарь, свои обороты и свой юмор, так что порой приходилось сперва разбираться, что тебе вообще сказали, и только потом решать — смешно это или нет. Готовясь к поступлению на кафедру психиатрии, я уже стал учить румынский дополнительно с преподавателем: ко мне мог попасть человек из далёкого села, плохо говорящий по-русски, а мне нужно было его расспросить и собрать анамнез, медицинская документация, само собой, велась на государственном языке.

Я, кажется, пожил чуть ли не в каждом районе Кишинёва, меняя съёмные квартиры, комнаты, маршруты и компании. В центральной части города старинные невысокие дома стоят у самой дороги; на их деревянных дверях сохранилась узорная резьба, но краска давно потрескалась и облупилась. Возвращаясь как-то из Центра на Ботанику, я сфотографировал виа-

дук: навстречу катил велосипедист, за перилами внизу бушевала зелень, а над ней поднимались многоэтажки. В местном торговом центре — Молле — мы зависали, когда водились деньги: брали фастфуд, покупали одежду, что-нибудь отмечали. Прямо через дорогу находилась больница, где проходили занятия по некоторым медицинским специальностям; между ними тянулся подземный переход.

Как-то я шёл по этому переходу и услышал, что кто-то играет и поёт совсем как Егор Летов. Причём не из тех песен, которые знают случайные прохожие, — что-то гораздо более редкое, возможно, из «Коммунизма». Летов к тому времени уже умер, да и живой звук было слышно сразу. Я развернулся и пошёл на голос. С гитарой на полу сидел здоровый парень с рыжей бородой, похожий на викинга. Я дождался, пока он доиграет, и сказал прямо: «Братан, мне очень нравится, как ты играешь и поёшь. Я хочу с тобой познакомиться». Его звали Батумба. Нам было о чём поговорить: ему был интересен мой мир, мне — его. Дружба завязалась быстро: мы гуляли по Кишинёву, я не раз бывал у него дома, был знаком с его матерью.

Говорил он на причудливой смеси блатного сленга и нашего неформального жаргона — попросту мурчал. Парнем Батумба был неглупым и легко менял манеру разговора, когда это требовалось. Как-то при мне он повздорил на улице с кем-то чужим и бросил холодновато: «Ты что, думаешь, тебя здесь кто-то боится?» Эту фразу я запомнил и сам до сих пор пускаю в ход, когда считаю нужным.

Батумба любил клубничное мороженое. В жаркие дни мы ели его вместе, и мне оно тоже нравилось — как нравится в жару любое мороженое, — но меня удивляло, с каким смаком ел его он и как любил именно клубничное. Это никак не вязалось с тем, как он появился в переходе: рычащий хриплый вокал, на который я развернулся, человек с гитарой, похожий на викинга, сидевший в переходе как хозяин. А тут он ел мороженое с таким удовольствием, что мне хотелось ещё, хотя я доедал своё.

Сохранились два снимка. На одном Батумба сидит на скамейке в синей майке и камуфляжных шортах, с прозрачным стаканчиком и белой пластиковой вилкой. На другом рядом с ним Футболист в красной футболке, с небольшой бородкой; он обнимает Батумбу за плечо, оба смотрят в камеру. За ними Ботаника: деревья с побелёнными стволами, солнце в окнах домов, бульвар. Эти фотографии я могу рассматривать подолгу.

С Батумбой мы шатались по району, не загадывая маршрута. Моя Ботаника ограничивалась дорогой от дома до троллейбуса, а он знал район вдоль и поперёк. Помимо больших улиц и остановок, ему были ведомы все её тайные ходы: лазейки между дворами, места, где можно срезать, и глухие уголки Долины роз. Поначалу я привязывал эти точки к нему: здесь мы проходили, отсюда он поворачивал дальше, тут мы стояли и говорили. Постепенно карта района становилась моей собственной, и уже трудно было вспомнить, какой поворот показал он, а какой я нашёл сам.

С любым встречным он заговаривал так легко, будто они только вчера расстались на полуслове. Я стоял рядом, слушал и постепенно открывал для себя, что Ботаника населена куда гуще, чем я думал. Шагая дальше, я порывался спросить, кто это был, но беседа всякий раз сворачивала в другую сторону, и вопрос так и оставался незаданным. Да мне и не требовался полный каталог его знакомых — вполне хватало того, что я иду рядом.

Как-то на прогулке Батумба рассказал, что уже бывал на пороге смерти: вместо него, как он считал, умер его кот — забрал смерть, которая предназначалась ему самому.

После расставания с первой женой я перебрался к Мозгу — на Мунчештскую, одну из старейших улиц Кишинёва, и снова на Ботанику. Он снимал двушку, где как раз пустовала вторая комната. Мозг был огромным, почти двухметровым, но на редкость добродушным парнем; рядом с ним тревога отступала, и мир казался куда безопаснее. Мы вели общий быт, бренчали на гитарах, бродили по району, тусовались и без конца обсуждали мою жизнь. В то непростое время такое соседство стало настоящим спасением.

Мозг любил готовить и красиво накрывать на стол, поэтому вести с ним хозяйство было одно удовольствие: зайдёшь на кухню, а ужин уже выложен на огромное блюдо в полстола. Кухня была крошечной, а Мозг — большой; стоило ему сесть, как остальным приходилось буквально протискиваться мимо. Сам он устраивался по-хозяйски: одна рука на столе, другая у тарелки, за спиной на подоконнике открыт ноутбук. Свет пробивался полосами сквозь зелёные жалюзи, на столе поблёскивали ломтики помидоров под перьями свежего лука. Аппетит разыгрывался задолго до того, как он заканчивал всё это заботливо расставлять.

За спиной фоном бубнил ютуб или играла музыка. Порой мы замолкали, чтобы дослушать трек, и снова возвращались к своим разговорам. Если заглядывал кто-то из знакомых, мы молча сдвигались, освобождая край стола под лишнюю тарелку. Жить рядом с Мозгом было удивительно просто: ни о чём не приходилось договариваться заранее и тем более выяснять, кто кому что должен.

Я никогда не был из тех, кто приезжает в новый город и с ходу начинает героическую самостоятельную жизнь — её ещё только предстояло научиться налаживать. Бывало, деньги водились, а случалось, мы считали копейки, гадая, хватит ли на аренду и свет. Вспоминаю, как уже с нынешней женой мы резали напополам одно варёное яйцо на двоих. Я и сегодня люблю Кишинёв, но от хронического безденежья тогда смертельно уставал. Впрочем, кишинёвский климат я и сейчас без колебаний предпочёл бы подмосковному.

Теперь я живу и работаю в Королёве. В Москву езжу редко: по делам или просто выбраться куда-нибудь с женой и ребёнком, вкусно поесть и сменить обстановку. Приятно осознавать, что я твёрдо стою на ногах именно здесь — в городе, где когда-то так шумно пытался доказать себе и миру, кто я такой. Порой я чувствую себя этаким помещиком, который принципиально живёт за городом и не видит смысла являться в столицу без веского повода.

Но иногда мне снится Кишинёв. И во сне я просто оказываюсь там — спокойно и естественно, даже не удивляясь тому, что снова вернулся.

5. За водой

Ночью я ходил за водой к роднику у железнодорожной насыпи. Это было в Бельцах. Дорога шла вдоль забора еврейского кладбища; возвращался я тем же путём, уже с полными бутылками. Полосатая кошка с белой грудью и лапами сама увязывалась за мной туда и обратно. Мне запомнились эти ночные прогулки в тишине между рельсами и старой оградой. Я был молод, жил с Летней, моей первой женой, и шёл знакомой тропой, зная, что наберу воды и вернусь в её родительский дом, где мы тогда остановились.

Ходил я ночью, потому что часто не спал допоздна, а воду из родника предпочитал водопроводной. Брал одну-две пустые пятилитровки. Туда они ничего не весили, обратно оттягивали руки, и по дороге я иногда останавливался перехватить ручки. Вернувшись, я ставил бутылки на ковры и смотрел, что осталось из еды.

Летом за железной дорогой в густой зелени утопали светлые крыши невысоких домов. Я помню солнечные дни в нашем дворе, поездки на старых троллейбусах и тёплый, только что купленный хлеб из киоска у остановки.

Город я исходил вдоль и поперёк, но по-настоящему своими стали только короткие, привычные маршруты: от дома до того самого хлебного киоска, к роднику за водой и через кладбище к турникам у школы.

На троллейбусе едешь через центр: за окном тянутся сталинки, за которыми прячется рынок, дальше Дечебал и «Стелуца», где выходить. Между Бельцами и Кишинёвом — долгая дорога в маршрутке, но в памяти они стоят рядом: подумаешь об университете, и следом сразу встаёт дом в Бельцах.

Университетскую практику я тоже проходил в Бельцах, в амбулатории и на скорой, и ездил в клинику так же — на троллейбусе. В старом троллейбусе летом особенно хорошо: открытое окно, тёплый воздух, на повороте кого-то чуть подаёт в сторону. Хлеб продавали у самой остановки, и специально за ним ходить не приходилось: выходишь из троллейбуса, покупаешь, и до дома остаётся несколько минут. Терпения мне хватало ненадолго. Корку начинаешь отщипывать ещё на ходу: хлеб свежий, за коркой тянется мякиш, за ним следующий кусок, и от остановки до дома успеваешь съесть полбатона.

Летняя была моей одногруппницей. В Кишинёве мы жили в общежитии, и по утрам она будила меня на занятия. Дома вместе, на занятиях вместе, потом снова дома. Иногда мы гуляли и о чём-то говорили. Мне нравилось идти рядом с ней и знать, что домой мы тоже вернёмся вместе. Когда я женился, мне казалось, что так будет всегда, и даже мысль, что это может кончиться, не приходила в голову.

А в апреле, уже в резидентуре, я вышел из общежития, собираясь на работу в больницу, и обнаружил город, заваленный снегом. Были оборваны провода, деревья не выдерживали тяжести, транспорт перестал ходить. Одно дерево рухнуло прямо передо мной, метрах в двух. Сначала я решил, что сегодня, пожалуй, не стоит идти на работу, а потом выяснилось, что добраться туда всё равно не получится. В том же году кончился наш брак — резко, с болезненным ударом по моему самолюбию. Я тяжело это переживал и наговорил много такого, чего лучше было бы не произносить.

Спустя несколько лет, осенью, мы снова встретились. Я уже думал об отъезде из Молдавии, понимал, что, возможно, больше никогда не увижу Летнюю, и не хотел, чтобы последней нашей встречей остались мои оскорбления. Я извинился. Мы неловко пожали друг другу руки и попрощались.

Извиниться оказалось совсем не тем же самым, что простить. Я ещё долго искал справедливости, но так и не смог придумать, во что её облечь. Ну ответишь ты болью на боль, выложишь всё самое меткое и разрушительное, что вынашивал месяцами. А дальше? Дом в

Бельцах не вернётся, и утро в общежитии, когда тебя будят на занятия, не повторится. Никакая месть этого не исправит. Простить для меня значило закрыть этот бесконечный суд у себя в голове, где она даже не могла возразить. Это произошло куда позже и не в один день. А когда произошло, я дал ей об этом знать.

За ту жизнь я Летней благодарен. Нам было хорошо вдвоём, и летние дни в Бельцах я до сих пор вспоминаю светло: мне снова легко идти за водой, и кошка идёт следом.

6. Один из нас

Кафедра психиатрии находилась на последнем этаже Костюженской больницы. Когда я пришёл туда впервые, по просторным коридорам здания советской постройки летали ласточки.

Психиатрия интересовала меня и раньше, но то был интерес наблюдателя: читать, думать, примерять разные объяснения к тому, что видишь вокруг. С началом долгожданного цикла я засыпал преподавателя вопросами. Он был практикующим врачом, и меня занимало то, что он знал из опыта и чего не найдёшь ни в одном учебнике. Как-то он заметил, что с таким интересом я мог бы стать психиатром. Я тогда как раз выбирал специальность — сначала взял дипломную работу по шизофрении, затем поступил на резидентуру.

С дипломом вышло любопытное совпадение. Много времени в те годы я проводил в Бельцах, в доме моей первой жены, и оказалось, что дипломный руководитель — другой врач с той же кафедры — работает совсем рядом: психиатрический диспансер, где его можно было найти, стоял метрах в трёхстах. Вместо поездки в Кишинёв я выходил из дома и через несколько минут был у него.

Резидентура, последипломное обучение, занимала тогда четыре года. Первые три я провёл на базе государственной психиатрической больницы: в остром мужском отделении, в женском, успел поработать и в детском. Застал старых докторов, начинавших практику задолго до моего рождения, и многому у них научился. Мы коллегиально обсуждали одних и тех же пациентов, и разница в возрасте за этими разговорами не чувствовалась.

О том, что Футболист и Пассажир в неформальной юности не раз лежали в этой больнице, я знал от них самих. Заведующий диктовал, я набирал на клавиатуре; румынский я знал так себе и часто брал готовые формулировки из старых выписок в отделенческом компьютере. Файлы там были подписаны датой, фамилией и инициалами, и среди них нашлись две знакомые фамилии с теми самыми инициалами. Оба документа я открыл так же, как открывал остальные — ради формулировок, — и не узнал в них ни парня, пропадавшего в компьютерных играх, ни его друга, когда-то приехавшего в Кишинёв из провинции. Мы близко общались и общаемся до сих пор, но ничего похожего на записанное в историях болезни я у них не наблюдал.

Между лекциями и семинарами нужно было разговаривать с пациентами, отслеживать и документировать, как меняется их состояние, сопоставлять услышанное вчера с увиденным сегодня. В учебниках основные признаки и симптомы, как правило, перечислены по пунктам; живой человек в отделении мог рассказывать совсем о другом, сердиться, молчать или считать, что ему незачем здесь оставаться, — а требовалось ещё разобраться, что с ним на самом деле происходит. Я ходил на занятия, разбирал темы по программе и возвращался в палаты. Мне нравилось, что учёба совмещается с практикой и что я уже могу что-то делать сам. У клиницистов и преподавателей кафедры я, как мне хочется думать, был на хорошем счету.

В государственной больнице я видел и грубость, и насилие со стороны персонала. Как-то медсестра на моих глазах тащила пациентку за волосы. Я пошёл к заведующему и всё рассказал. Вскоре она сама явилась ко мне возмущаться: как я вообще такое себе позволил. Я орал на неё так, как не орал никогда в жизни.

Ближе к концу резидентуры, продолжая учиться на кафедре, я устроился в небольшой частный стационар. По степени самостоятельности работа там оказалась совсем другой. Диагностика, лечение, бумаги, динамика, текущие вопросы, а порой и стойка администратора — всё, что в крупной клинике распределено между разными людьми, здесь быстро сошлось на одном человеке, то есть на мне. За стойкой меня спрашивали, куда пройти и кому заплатить. Жена одного из пациентов попросила передать доктору, что муж плохо спит. Я пообещал, а через полчаса зашёл к нему в палату. Ещё интересовались, кто принимал вещи и где квитан-

ция, почему родственнику вчера сказали одно, а сегодня другое. Вставал из-за стола, шёл разбираться — и снова садился за бумаги.

Врачом в полной мере я почувствовал себя именно там. Рассчитывать, что после меня пациента непременно посмотрит кто-нибудь из старших, здесь не приходилось. Позвонить кому-нибудь и обсудить случай — пожалуйста, но решение принимаешь сам и сам потом видишь, что из него вышло. Утром человек мог стать спокойнее или, наоборот, промучиться без сна — а мог заявить, что всё замечательно, когда по нему было видно совершенно обратное. Я привыкал возвращаться к одному и тому же вопросу с разных сторон, не превращая беседу в допрос. Случалось, что настоящий ответ звучал, когда я уже брался за ручку двери, собираясь выйти. Самая подробная запись в истории болезни не избавляла от необходимости назавтра снова заглянуть в палату.

Санитаров сперва не было. Среди пациентов лежал слепой старик, который не мог за собой ухаживать, и бельё, мытьё и бритьё пришлось взять на себя. У коек я проводил по многу часов, шесть дней в неделю. Другие больные приезжали на неделю, на десять дней, иногда дольше — если позволяли средства. Люди менялись, старик оставался. К нему я заходил каждый день.

Больше всего запомнилась его переменчивость. В один день он добрый, расположенный ко всем, можно сказать, солнышко; мы с волонтёрами и остальными пациентами осторожно выводим его покурить, усаживаем в кресло у порога, лицом к закату, потом заводим обратно. Я мог по-свойски назвать его отцом. В другой день он злится, ругается, матерится, не узнаёт меня — но вымыть и побрить его нужно и в такой день. Когда именно он бывал приветлив, а когда бушевал, я теперь не вспомню.

Брея слепого, стоишь к нему почти вплотную. Поворачиваешь голову, добираешься до небритой щеки, следишь за каждым движением: твоей руки он не видит. Если бранится, голос тоже оказывается совсем рядом. Я мог продолжать с ним спокойно разговаривать или молча доделывать своё, зная, что завтра, а то и раньше, он встретит меня иначе.

Чтобы переодеть его и сменить постель, приходилось одной рукой придерживать тяжёлое тело, а другой вытягивать пододеяльник и расправлять простыню. Закончив, я ненадолго отходил к другим палатам и возвращался; к концу дня я сбивался со счёта, сколько раз подходил к этой койке. Я объяснял, что собираюсь сделать, просил повернуться или немного подождать. Одно и то же порой приходилось повторять по нескольку раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.